



## Священник Павел ФЛОРЕНСКИЙ

### Памяти Владимира Францевича Эрна

Солнце — Сердце.

*Вяч. Иванов*<sup>1</sup>

Милый друг! Я думал, что сказать о тебе в этот вечер, посвященный твоей памяти. Но из слишком многих воспоминаний, которые я мог и должен был бы рассказать здесь, я не умею выбрать какое-нибудь одно, — мысль разбегается и тщетно силится остановиться, ограничив себя. Сам знаешь: когда приходится разбирать вещи любимого умершего с тем, чтобы на память себе удержать одну, остальные же раздать, — труден выбор. Но то вещи. А воспоминания — они ближе к сердцу, и уединить внимание на одном — кажется обидой для других; как признать их худшими? Но может ли у меня не быть многих воспоминаний? Долгое время нашего знакомства, а потом и дружбы свидетельствует противное. Ведь мы с тобой учились вместе со второго класса гимназии, часто бывали друг у друга, прожили в одной комнате университетские годы и в дальнейшем часто виделись и гостили один у другого; вместе увлекались мы многим, самым дорогим для нас, вместе воспламенялись теми мечтами, из которых потом выкристаллизовались наши позднейшие жизненные убеждения; вероятно, немного есть мыслей, которые не прошли чрез совместное обсуждение. Наша общая жизнь была насыщена и философскими интересами, и горячим чувством близости; мы прожили нашу дружбу не вяло, — и восторгаясь и ссорясь порою от перенапряжения юношеских мыслей. Мы вместе бродили по лесам и по скалам преимущественно, вместе читали Платона на горных прогалинах и на разогретых солнцем каменных уступах. Вместе же ценили мы благородный пафос кн. С. Н. Трубецкого и острую критичность Л. М. Лопатина, подсмеиваясь над лжеучеными

притязаниями важных наших философских сотоварищей. И мы взаимно наблюдали, часто не говоря о том, ломки, тайные надломы в недрах души друг друга, и оба скорбели, в бессилии помочь, и оба уповали на иные силы помощи, из Вечности.

Удивительно ли, милый друг, что у меня нет решимости из этой сплошной картины воспоминаний, из этих сплетающихся в одно целое впечатлений солнечного зноя, горячих скал, серых, грязно-зеленоватых и ржаво-красных лишаяев, глубоких синих далей, тонкой каменной резьбы полуразрушенных древних храмов, выжженных полей, карабкающихся где-нибудь по кручам коз, темной синевы небес, сухого ковыля, летящего в горячем ветре, воздуха, окутывающего строгим благовонием богородичной травки, горной полыни и мяты, ломких иммортелей и других горных трав, и наконец, потоков слепящего света, — удивительно ли, если из всех этих впечатлений, сплетшихся с впечатлениями от тебя в неразрывное целое, я не нахожу в себе решимости вырывать отдельные случаи. Не от недостатка, а от избытка не решаюсь и не буду пробовать.

Лучше я расскажу тебе об одном новом впечатлении в связи с твоим отходом отсюда. В Субботу 29 апреля текущего 1917 года я служил воскресную всенощную у себя, в церкви Красного Креста<sup>2</sup>. Запели стихиры на «Господи воззвах», и тут напало на меня странное состояние, внешне как будто оцепенение, что ли, и временное забвение всего, что было кругом. Сколько длилось это оцепенение, я не знаю, — вероятно, не долго, потому что до окончания стихирь я уже пришел в себя и заметил, что мои глаза мокры от слез. Внутренне оно было и полно содержания и как бы длительным. Мне представлялся ряд ярких, почти как сновидческие образы, быстро проносящихся видений, воспоминаний нашего с тобою знакомства, наши прогулки, наши разговоры, все наше общение. Они развертывались, как лента жизни, я не помню их порядка, но помню, что среди видений был ты мальчиком, еле знакомым еще со мною, несущим по солнечной улице под мышками кур, которыми ты занимался тогда с тою же безраздельностью, с какою впоследствии отдавался всякому порыву. Мне представились и другие твои увлечения, твои беседы, твои борения, слезы твои, когда тебя обижали, — все твое или к тебе относящееся. Мне представилась, словом, вся твоя жизнь, насколько я знал ее, последовательная и вместе — в едином созерцании.

Но в содержательности многообразной картины твоей жизни мне чувствовалась одна первичная интуиция. Все впомнившееся о тебе относилось к солнечным дням, к жаркому времени

Закавказья, в особенности к знойному и ослепительному лету. Твой образ рисовался моему воображению, если это было только воображение, в воздушной перспективе прозрачно глубокого горного воздуха, в ослепительном, как только на горах бывает ослепительно, знойном солнце. Я не помню, вспоминался ли ты мне в комнате или среди зимней природы, но если это и было, то не задело сознания: все яркое, запечатлевшееся было пронзено лучами солнца. вихрем неслись воспоминания и еще более быстрым вихрем срастворенные с образами мысли. Словно что-то искалось. Но как только было сказано это слово «*пронзено солнечным лучом*» — мысль нашла себя. А, так вот что!

Вихрь замедлил свое течение. Мне вспомнился тогда твой последний приезд ко мне в Посад на Масляной этого года, когда ты только что окончил свою статью о Платоне и перед сдачею в печать привез прочитать ее и посоветоваться о ней. Помню, как ты отмечал значительность для тебя этой работы, — первой главы или части из предполагавшейся книги о Платоне. Ты говорил, что считаешь себя ничего до сих пор не написавшим и что это первая работа твоя, которая почти адекватно выражает твою мысль и которую ты признаешь за удавшуюся тебе. Ты считал, что до сих пор ты не существуешь как писатель и лишь этой работой вступаешь на писательское поприще. Но отмечал ты и то, что в этой первой части твоего труда уже содержится вся суть твоей книги и что книга должна быть проработкою и оплотнением тех мыслей, которые уже высказаны здесь, в этом вступлении. Потому-то тебе и хотелось совместно обсудить эту первую главу, предупреждая этим неправильности в сложении книги. При этом мне хорошо запомнилось твое утверждение, что основное в этом исследовании — интуиция Платона — после многих поисков и изучений далась тебе вдруг, летом 1916 г. в Красной Поляне, среди гор, и что эта интуиция определяет весь план и характер твоей книги. Впрочем, не трудно было запомнить это: ведь ты мне несколько раз говорил по приезду из Красной Поляны, а, кажется, и писал оттуда, что лето 1916 г., — последнее твое лето, — открыло тебе Платона, ибо ты нашел его первичную интуицию. А открыл, ибо сам пережил нечто подобное. Да и теперь, в это последнее посещение Посада, ты, уже с отравленным организмом и жестокою головою болью, несколько раз повторил мне то же.

Со стороны формальной, мысль, развиваемая тобою, — общая нам обоим мысль, неоднократно обсуждавшаяся нами, — а именно, что философские воззрения Платона суть диалекти-

ческая проработка его биографически-личного мистического опыта. Но если так, рассуждал ты, то и характер всей мысли Платона определяется каким-то исходным опытом, впервые введшим Платона в Царство вечного бытия и в зачатке содержащего всю систему мысли Платона. Таковы, по крайней мере, были твои рассуждения. Я сейчас не хочу спорить с тобою по поводу того, как спорил отчасти и тогда, ибо они важны для меня как *твои*. И вот если был такой первоопыт Платона, такое *посвящение* его, то естественно было тебе искать в его диалогах и самоличного свидетельства Платона об этом первоопыте, в его точной и подлинной *записи*. Открыть эту запись значило для тебя найти дверь, вводящую в мысль Платона, в ту дверь, через которую Творец системы сам вошел в нее; это значило для тебя оглядеть систему Платона с той единственной точки зрения, в ее истинной перспективе, с какой впервые увидел ее, в ее целом, сам философ. Эту первичную запись платоновского посвящения и, следовательно, первичное изложение платоновской мысли в ее целом ты нашел в «Федре», в том, что ты назвал «*солнечным посвящением Платона*». По твоему убеждению, именно в той самой конкретной обстановке, которая изображена с протокольной точностью в диалоге «Федр», Платон пережил там же изображенное экстатическое состояние от ослепительных лучей полуденного солнца Аттики, среди раскаленных скал и выжженных полей. В этом экстазе, или «солнечном восхищении, ἀρταγμός ἠλιακός» Платон воспринял светоносно солнечную природу горного мира. Так был открыт Платонизм. Все, что говорил ты в пути, значительно и важно и для Платона, и для тебя самого, ибо твое исследование о Платоне, несмотря на замкнуто объективный характер изложения, было явно автобиографично и явно опиралось на лично пережитое. То же, чего ты не договаривал о Платоне, еще более характерно для тебя. Ты не видел ночной стороны платонизма, ты отрицал его дионисийство; и я тогда много спорил с тобою насчет этого, имея в виду Платона. Теперь я не стану спорить, имея уже в виду тебя: увы, жизнь показала, что я был прав. Автобиографическая сторона твоей работы в односторонне-солнечном истолковании Платона болезненно задела меня и, может быть, по преимуществу педагогически я тогда спорил с тобою, желая отвлечь тебя несколько в сторону. Нельзя жить с сердцем, пронзенным одною только солнечностью; там, где нет творческого мрака пещерных посвящений, Солнце-Аполлон сжигает и губит, переходя в Молоха. И как ты не мог понять, что солнечное восхищение, тобою описанное, уже есть, в своей

односторонности, нарушение мистического равновесия, уже есть солнечная смерть. Я помню, что формально ты соглашался со мною, но мои слова не доходили до твоего сознания, а между тем ты знал гибельность солнечного воспарения, знал на опыте и как-то не считался с ним. Ведь ты помнишь тот опыт, который открыл тебе понимание Платона: в июле 1916 года, кажется 25-го числа, т. е. как раз «на макушке лета», по народному выражению, на Анну-зимоуказницу, ты поднимался из Красной Поляны на вершину Ачишхо. Снежные твердыни, залитые потоками всепобедного солнца, которое в горах, и в особенности на этот раз, сияло как-то иступленно, вызвали в тебе солнечное восхищение, как сам поведал ты. И уже после, когда впечатление ослабло, — осенью, ты рассказывал об этом созерцании, как об «ужасном», «потому что», говорил ты, «невозможно видеть такую красоту и не умереть». И этот круг твоих мыслей, вращаясь в тебе полусознательно, облекся в взволновавший тебя сон, виденный за некоторое время до смерти. Ты видел себя держащим в левой руке свое сердце, которое надо было тебе пронзить чем-то острым, что было у тебя в правой, — пронзить как-то необычайно осторожно, ибо от успеха этого все зависело. Это острое, думается мне, — была стрела Аполлона. И, как бы переключаясь с твоим солнечным восхищением на Ачишхо, отвечает ему твой сон, виденный ровно 16 лет тому назад в Тифлисе 25-го же июля. Мне смутно вспоминается та тревога, с которой ты мне рассказывал тогда о нем, и его содержание. Но я имею возможность воспроизвести современную запись его, найденную мною в твоём дневнике. Вот она: «25-го июля 1900 г. Сегодня я видел страшный сон. Я был осужден каким-то образом на самоубийство. Я отлично понимал, что мне приходится расставаться с этою жизнью и переселяться в иной мир, но я был как-то мрачно спокоен. Я отлично представлял себе, как я подставляю холодное дуло револьвера к *сердцу* и в одно мгновение спуском курка лишу себя жизни. В той жизни я был уверен. Мелькала мысль о своих грехах, и я чувствовал приступы отчаяния от того, что я не могу загладить своего прошлого. Тогда я порывался умолять того, от кого зависела моя жизнь, но ужасная мысль, что это напрасно, оставливалась меня. Тогда я вспоминал о всепрощении Бога, о благодати и милости Его и в мысли этой находил твердый источник утешения... <...> Пред смертью я должен был попрощаться с папой и мамой. В слезах я поцеловал папу, но папа, занятый, кажется, чтением письма (брата) Коли, не обратил особенного внимания на меня, попрощался со мной, будто я шел в город.

Мама перекрестила меня трижды, но слез не было. Потом я остался один с мыслию о неизбежности скорой смерти. Ужасна эта мысль. Я чувствовал, что меня давило что-то в грудь, я уже начал покоряться необходимости, как вдруг я почувствовал, что начинаю просыпаться... Что это значит?.. (Я никогда почти снов не вижу)».

Переживая твою жизнь в кратчайший срок, я почувствовал, что вся она была путем к радостно-восторженному пронзению своего сердца солнечным лучем, и плакал я не о тебе, а о нас, в тебе нуждающихся. Я не хочу сказать: «Ты сделал, что мог сделать». Напротив, наблюдая тебя с детства, я весьма определенно знаю, что ты принадлежал к числу тех, которые являют собою прямую противоположность скороспелым гениям. Ты развертывался с величайшею постепенностью и чрезвычайно медленно. Знаю также и то, что ты действительно не успел проявить своих возможностей и только-только начинал входить в зрелый возраст, и я не буду утешать себя и друзей ложными утешениями, будто бы ты достаточно поработал, ибо не сомневаюсь, что в порядке историческом в нашем общении, для нашей общей работы ты только теперь вступаешь в меру твоего настоящего плодоношения. Но есть иные порядки и иные расчеты. И в этой иной плоскости я слышу тебя говорящим: «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое». А если готово, то я не могу и не должен удерживать тебя от воспарения к иным светам, предварениями которых готовился ты к последнему восхищению.

На этом внутреннем решении прервался поток моих образов и мыслей, но вместе с тем возникла полная уверенность, что эти минуты были вызваны во мне тобою, уже не дождавшимся моего решения. Вернувшись домой после службы и некоторых дел я прочел полученную в мое отсутствие телеграмму, поданную 29-го в 5 часов 23 минуты: «Эрн умер».

